

ИСПОВЕДЬ КАК НАКАЗАНИЕ В РОМАНЕ «БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ»

Потребность в «исповедальном самовысказывании», как указал М. М. Бахтин, всегда присуща герою Достоевского.¹ Но этот акт самопознания немислим без участия другого человека, принимающего исповедь, или хотя бы незримого присутствия тех, к кому эта исповедь обращена. Исповедуясь, человек пытается самоопределиться относительно того, что ему известно о себе, и, вынося себе приговор, надеется на ответную реакцию со стороны собеседника, воспринимаемую им в контексте его собственных суждений о себе. Реакция слушающего не исключает, разумеется, ни взаимной откровенности, ни рассуждений по поводу исповеди, но само содержание этой исповеди-признания, где самым существенным становится факт анализа человеком своих деяний, не всегда является предметом спора, столкновения мнений, а потому и не требует от собеседника полемической активности. В такой форме общения более важен внутренний, духовный контакт, умение передать невыразимые словами мысли и чувства, поскольку один взгляд, жест может решить все: станет человек на путь греха или с этой минуты начнется его нравственное перерождение.

Сложность психологической ситуации, в которой находятся оба участника исповедального диалога, приоткрывает всю глубину морально-этической проблематики, волновавшей Достоевского в связи со всегда актуальной для него темой вины и наказания человека. Исповедь грешника перед человеком, по своей нравственной природе близким и даже родным исповедующемуся, вызвана не только его потребностью снять с себя бремя греха или преступления, искупив признанием хотя бы малую часть своей вины, но и страстным желанием обрести с принимающим исповедь некий особый союз, существующий вне обычных человеческих взаимосвязей.²

¹ «Только в форме исповедального самовысказывания, — писал ученый, — может быть, по Достоевскому, дано последнее слово о человеке, действительно адекватное ему» (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 83).

² Не пустая патетика, а глубоко искренняя просьба звучит в словах Дмитрия к Алеше перед исповедью «горячего сердца»: «Слушай: если два существа вдруг отрываются от всего земного и летят в необычайное, или по крайней мере один из них, и перед тем, улетаая или погибая, приходит

Пробуждение сознания вины глубоко индивидуально, и потому характер исповеди зависит в первую очередь от нравственно-психологических особенностей исповедующейся личности. Однако, несмотря на все многообразие человеческих переживаний, существует, по убеждению Достоевского, общий закон, определяющий взаимоотношения людей, сблизившихся в момент исповеди. Особенно важно здесь то, что сама форма исповедального диалога возводилась Достоевским к древней традиции покаяния грешника перед святым и праведным, который в зависимости от степени вины либо приговаривал виновного к публичному покаянию перед народом, либо отпускал ему грехи, принимая их на себя.³ Горячий сторонник подобной исповеди в «Братьях Карамазовых» — старец Зосима, в нравственный опыт которого его преемник Алеша привносит новое содержание, соответствующее тревожному времени всеобщего обособления. В своей предсмертной беседе Зосима предлагает ученикам в своем роде «классический» образец поведения в этой сложной ситуации. И все отступления от него, вольно или невольно сделанные Алешей, лишь подтверждают верность основному тезису: «...возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской <...> чуть только сделаешь себя за всё и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть на самом деле и что ты-то и есть за всех и вся виноват» (14, 290).⁴ Исповедь преступника требует от «второго» не только высокой моральной чистоты и способности к участию и состраданию, но прежде всего ответного чувства разделения вины с согрешившим человеком, без которого, по

к другому и говорит: сделай мне то и то, такое, о чем никогда никого не просят, о чем можно просить лишь на смертном одре, — то неужели же тот не исполнит... если друг, если брат?» (14, 97). См., например, следующее высказывание М. М. Бахтина по поводу особой функции «второго» в исповедальном диалоге: «Этот другой человек — „везнакомец, человек, которого никогда не узнаете“, выполняет свои функции в диалоге вне сюжета и вне своей сюжетной определенности, как „чистый человек в человеке“, представитель „всех других“ для „я“. Вследствие такой постановки „другого“ общение принимает особый характер и становится по ту сторону всех реальных и конкретных социальных форм» (там же, с. 356).

³ См. по этому поводу: *Ветловская В. Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977, с. 96—97, 180.

⁴ Подобная этическая позиция восходит к традициям раннехристианской философии и культуры, и проникновение ее в поэтику Достоевского не только не случайно, но, наоборот, продиктовано особенностями мировосприятия самого писателя. Интересно в этом плане вспомнить замечание С. С. Аверинцева по поводу поэмы Романа Сладкопевца, известнейшего поэта ранневизантийской эпохи: «Отметим далеко не простое соотношение между словами и рефреном: проклиная Искарота в основном тексте, автор (Роман Сладкопевец. — *О. С.*) отнюдь не молится за него в рефрене, что и было бы немислимо, — но, молясь за себя или, что то же, за всех предстоящих во храме («милостив буди к нам»), он воспринимает Иудин грех как свой собственный, не отделяя себя от евангельского предателя в его виновности и ощущая развертывающуюся перед Иудой адскую бездну как заслуженную угрозу для себя самого» (*Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977, с. 216).

мысли автора «Братьев Карамазовых», невозможно нравственное возрождение грешника. Характерен в этом плане эпизод с «тайнственным посетителем». Выслушавшая его исповедь, Зосима приговаривает его к публичному покаянию (14, 280—281). И это вмешательство в чужую судьбу требует и от него самого готовности пережить испытания, которые выпали на долю убийцы. Разделивший вину в момент сопереживания становится на место виновного и, являясь как бы соучастником совершенного им преступления, вынужден одновременно подняться до морального суда над ним, выступая как обвиняющая совесть преступника. Принцип «всякий человек за всех и вся виноват» основан именно на таком типе отношений между людьми, и нравственно-философское содержание последнего романа Достоевского, в сущности, является доказательством этого морально-этического тезиса. По Достоевскому, каждый из людей привносит частицу зла в мир и тем самым нравственно виновен в отдалении мировой гармонии. Беда людей в том и состоит, что, отдаваясь своим страстям, они лишают себя счастья. «... жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы всем на свете рай», — утверждает брат старца Зосимы (14, 262). Этим и объясняется сложность в определении вины человека. На свете нет невиновных, т. е. не принимавших участия в увеличении зла, а потому каждый человек лично виновен в чужих грехах и в проступке отдельного человека. На соблюдении этой заповеди настаивает старец Зосима, завещая людям беречь и любить друг друга: «... каждый единый из нас виновен за всех и вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый из всех людей и за всякого человека на сей земле» (14, 149). Вследствие этой общности человек, знающий о преступлении своего ближнего, должен отвечать за него как за свое собственное, поскольку сам прямым или косвенным образом причастен к распространению зла в мире. Мысль о взаимосвязи всех со всеми в едином потоке бытия очень близка мировосприятию «позднего» Толстого.⁵ Никто из людей, по убеждению писателя, не вправе по своему своеволию разрывать эту живую связь, а если это все же происходит, люди начинают испытывать страдания. «Мучительность страдания, — писал Толстой в трактате «О жизни», — это только та боль, которую испытывают люди при попытках разрывания той цепи любви к предкам, к потомкам, к современникам, которая соединяет жизнь человеческую с жизнью мира».⁶ Каждый человек в поступках своих должен исходить из ощущения этого живого единства, иначе он рискует поплатиться за непонимание основного закона жизни.

⁵ Особый интерес и сочувствие Толстого вызвали в «Братьях Карамазовых» поучения старца Зосимы. См. об этом: *Покровская И. А.* Материалы о Достоевском в архиве Л. Н. Толстого. — В кн.: Яснополянский сборник. 1974. Тула, 1974, с. 85—88.

⁶ *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1936, т. 26, с. 430.

В сущности трагическая вина человека Достоевского, приводящая его к страданиям и болезни и, наконец, мучительной самоказни в момент исповеди, только в том и состоит, что он слепо следует голосу своих эгоистических страстей, нарушая тем самым нравственное равновесие мира, которое и есть основа всеобщей гармонии и сама гармония. Так, Дмитрий Карамазов виновен в том, что поддался духовному «безудержу» и фатуму страсти, Иван — честолюбивому желанию пересоздать человечество «по новому штату», Алеша — слишком личной любви к Зосиме, Грушенька — капризному желанию испытать могущество своего женского обаяния, Катерина Ивановна — озлоблению гордости и т. д. Все это делает карамазовскую трагедию неизбежной и в то же время лишает людей морального права перекладывать ответственность за всеобщее своеволие на какого-либо отдельного человека, хотя бы и самого грешного из всех.

Но вернемся к эпизоду с «таинственным посетителем». Горячее желание Зосимы разделить с убийцей его страдания («...сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его». — 14, 280) вызывает в последнем ненависть к сострадающему как соучастнику преступления, обвиняющему судьбе и карающей совести. Для преступника непереносимо сознание, что кто-то другой знает всю его душу так же, как и совершенное им злодеяние, и потому вправе требовать от него публичного покаяния перед людьми. «Возненавидел я тебя, будто ты всему причиной и всему виноват», — признается «таинственный посетитель» Зосиме и так объясняет мотивы своей ненависти: «Как я стану глядеть на него, если не донесу на себя?»; «...он единственный связал меня, и судия мой, не могу уже отказаться от завтрашней казни моей, ибо он всё знает» (14, 283).⁷ Именно морально-психологические последствия признания вины становятся, по Достоевскому, самым тяжелым и страшным моментом в жизни человека, переживающего ощущение вины как величайшее наказание, посланное ему богом, законы которого он пограл. И это наказание тем более справедливо, что ни в коей мере не является возмездием за грехи, уничтожающим человека, но наоборот, искуплением их, необходимым нравственным испытанием перед будущим возвращением к людям и возрождением к новой жизни. По Достоевскому, человек снимет с себя бремя вины, когда раскается публично, принимая ненависть и презрение людей как неизбежную расплату за обособление от них в своевольной гордыне преступления. О сложности психологического состояния человека, побуждающего его признать свою вину, размышлял Лев Толстой, предполагая ввести в «Воскресение» сцену публичного покаяния Нехлюдова во время суда над Катюшей.⁸ Но то, что у Толстого осталось делом личной совести героя, у Достоевского происходит как событие всечелове-

⁷ Ср. со следующей записью в черновых материалах к роману: «Это совесть моя будет смотреть на меня (убить приходил)» (15, 246).

⁸ См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1932, т. 3, с. 69—70.

ского значения, и акт покаяния грешника перед людьми, столь значимый в поэтике писателя, одновременно становится и его нравственным подвигом во имя этих людей, их будущей счастливой общей жизни. Переживая неизбежные в эту минуту унижение, стыд и оскорбления, человек тем самым утверждает столь необходимый всем остальным людям пример истинно христианского поведения, высшая цель которого, по убеждению Достоевского, состоит в преодолении «себя», т. е. обособленности и эгоизма своего индивидуально-личностного мировосприятия (см., например, слова «таинственного посетителя» о периоде человеческого «уединения», предваряющем наступление «царствия небесного» и соединения со «всеми» в едином чувстве виновности: «...всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты существа своего впадают в совершенное уединение». — 14, 275). Не случайно, приговаривая «таинственного посетителя» к покаянию, Зосима видит в этом необходимом для страдальца нравственном очищении своего рода подвиг самопожертвования: «Поймут все подвиг ваш <...> не сейчас, так потом поймут, ибо правде послужили, высшей правде, неземной...» (14, 280). А Дмитрий Карамазов, исповедуясь перед Алешей накануне суда, сам приговаривает себя к подвижническому труду на каторге, убежденный, что страдания вследствие несправедливого обвинения есть единственный путь преодоления «карамазовщины» и воспитания в себе подлинной, глубокой человечности (см.: 15, 31).

Однако следует заметить, что готовность перенести позор публичного покаяния перед людьми, как правило, сопровождается у героев Достоевского вспышкой ненависти и презрения к ним. Человек как бы заранее занимает оборонительную позицию по отношению к тем самым людям, перед которыми намеревался каяться, убеждая себя, что все они так же преступны, как и он, а главное — исполнены лжи и лицемерия и потому недостойны такого подвига. Этот «вызов от виноватого к судье» (слова Тихона Ставрогину по поводу «слога» его исповеди — 11, 24), когда виновный как бы становится на место своего морального судьи, чтобы узнать, вправе ли тот подвергать его наказанию, присутствует почти во всех исповедальных диалогах в романах Достоевского. Исследуя глубины «подпольной» психики, писатель понимал, что искренность самообвинения как нравственного порыва противостоит у такого человека одному из самых сильных его стремлений — потребности утверждения своего «я» в обособлении от всех людей, неспособных восстать против несправедливого мира, не видящих различия между добром и злом, а значит и не имеющих права судить и наказывать. О положении такого человека в мире «всех», равнодушном и беспощадном, и намеревался сказать Достоевский в предполагаемом предисловии к «Подростку»: «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий

в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры — не в кого! Еще один шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство)» (16, 329).

Но всякое раскаяние обращено к людям, и именно в раскаянии «гордый человек» испытывается «на прочность». Проверая искренность и чистоту своего порыва, он часто оказывается бессильным подавить в себе ненависть к людям, дерзнувшему вынести ему моральный приговор, стать ниже тех, ради которых он страдает и которых в то же время презирает.⁹ Человек же, вышедший такое страшное испытание (характерна в этом плане дуэльная история старца Зосимы) и сумевший победить в себе все себялюбивое, узколичное, обретает единственно верный путь к общему благу. Соединение с людьми в чувстве виновности посредством публичного покаяния перед ними есть, по Достоевскому, не только самое гуманное наказание, но и лучшее средство разрешения всех социальных и нравственных конфликтов. «... Должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, — проповедует «тайнственный посетитель», — хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль...» (14, 276). И потому поведение человека в момент исповеди, являясь своего рода психологической подготовкой к перенесению такого наказания, определяет, способен ли он вообще сознавать себя наказанным. Особенно характерно в этом плане различие между двумя братьями — Дмитрием и Иваном Карамазовыми, так по-разному реагирующими на участие и сострадание Алеши. Если полное доверие Мити, его предельная откровенность перед братом («Ты выслушаешь, ты рассудишь, и ты простишь... А мне того и надо, чтоб меня кто-нибудь высший прости». — 14, 97)¹⁰ по сути дела есть один из симптомов возрождения души, стремящейся изжить ужас и позор карамазовщины, то Иван, наоборот, не желает допустить в свой внутренний мир Алешу, именно тогда, когда он наиболее нуждается в нем. Для Ивана «второй» даже более необходим, чем для Дмитрия: произнося приговор мирозданию, он тем не менее за-

⁹ Особенно характерны в этом плане переживания Ивана Карамазова накануне суда над Дмитрием. Иван, лелея в душе возможность «рыцарского поступка» на суде (т. е. покаяния и самообвинения, как ему язвительно намекает черт, — 15, 73, 87), оказывается неспособным к нему именно потому, что не в силах вынести последующие за ним ненависть и глумление «толпы», которым он противопоставляет, в свою очередь, озлобление мучимого угрызениями совести преступника: «... завтра я пойду, стану перед ними и плюну им всем в глаза» (15, 88).

¹⁰ Сам того не подозревая, Митя избирает структуру исповеди, предложенную Зосимой (см. выше). К этой форме исповеди герой прибегает в минуту крайнего напряжения своих духовных сил накануне решения основного вопроса своей жизни (см., например, беседу Мити с Алешей накануне суда (15, 34, 35), а также аналогичную ситуацию в исповеди Грушеньки (14, 377)).

блуждается относительно самого себя. И причина его нравственных мук в том и состоит, что герой не может постичь степень своей виновности в происшедшей «катастрофе». Обособив себя от людей и не имея возможности проанализировать свои поступки перед лицом «второго», Иван начинает мучительно колебаться между самооправданием и самообвинением. Психологическое состояние брата понятно Алеше, убежденному, что Ивану не следует вступать на опасный для него путь самообвинения, который может привести его к нарушению нравственного равновесия и духовному краху. «...Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты... — обращается к нему Алеша. — Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти страшные два месяца <...> Ты обвинял себя <...> Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца <...> И это бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с этого часа навсегда возненавидел меня...» (15, 40).

Но не менее страшен для героя и путь самооправдания. Испытывая огромную потребность в реальном собеседнике и не имея возможности удовлетворить ее, сознание Ивана начинает создавать воображаемого участника исповедального диалога. Так появляется черт — загадочный двойник и бунтующая совесть героя, таинственный свидетель убийства Федора Павловича и нравственный обвинитель Ивана. Разоблачая этическую позицию героя, черт толкает его к моральному нигилизму («Для бога не существует закона!» — 15, 84), закономерным следствием которого должно стать претворение в жизнь принципа «все дозволено». Иван одинок и беспомощен перед страшными вопросами своего двойника («...я не могу выносить таких вопросов. Кто смеет мне задавать такие вопросы?» — 15, 88), и эта необходимость признать свою вину при отсутствии участия и сострадания приводит героя Достоевского к разложению сознания, моральному и психологическому «двоению». Болея чужими страданиями, творец Великого инквизитора считает, что имеет *право* переступить через свои нравственные муки («Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги». — 15, 87), оставаясь равнодушным к суждению людей («Мнение ваше презираю, ужас ваш презираю» — 15, 87) и не понимая, что оно-то и есть для него самое страшное наказание. И хотя человеческое в герое Достоевского в конце концов одолевает «сверхчеловеческое» (Ивану, презирающему людей, далеко не безразлично, что думают о нем Алеша, Катерина Ивановна, Лиза и другие герои карамазовской трагедии), он держится за выстраданное им жизненное кредо до конца, оставаясь самим собой даже во время вынужденного покаяния на суде, столь чуждого его натуре. Для Ивана невозможен порыв духовного очищения, столь близкий Дмитрию (знаменательно, что Иван понимает, но не приемлет «гимн» брата),¹¹

¹¹ «Понимает про гимн и Иван, уж понимает, только на это не отвечает, молчит. Гимну не верит», — говорит Митя Алеше накануне суда (15, 35).

на глазах равнодушной и жадной до скандала «толпы». Но несмотря на то что герой отвергает то единственное, что могло бы его спасти, Достоевский провидит возможность возрождения и выздоровления больного сознания Ивана Карамазова (15, 89), указывая, однако, что безысходность страданий Ивана может стать причиной его нравственной и физической гибели.

Убежденный, что наказание человека человеком должно существовать вне сложившейся в буржуазном государстве системы социально-правовых отношений, Достоевский надеялся, что общество предоставит виновному и преступному возможность возрождения и исправления на основе христиански окрашенных гуманистических заповедей. Принцип «каждый за всех и вся виноват» должен, по мнению Достоевского, восторжествовать в русском суде, который впоследствии станет истинно гуманным и справедливым, т. е. всемерно способствующим восстановлению личности, пережившей состояние нравственного хаоса и обособления. И хотя «беспорядок» настоящего исключал возможность приближения к желанному идеалу, Достоевский верил, что прообразом его является исповедь.

Свое отношение к нравственному состоянию брата Иван высказывает и на суде: «Ну, освободите же изверга... он гимн запел, это потому, что ему легко!» (15, 117). Это обострение ненависти к брату объясняется прежде всего тем, что «слабый» Митя на деле оказался сильнее его, Ивана, и в грехе, и в покаянии. И хотя Иван ошибочно приписывает Дмитрию убийство отца, сам он страдает от мысли о превосходстве брата над ним самим, ведь факт убийства еще раз подтверждает, что Митя совершил то, на что Иван неспособен (см.: 15, 56).